

Это была ночь, необъятная задумчивая ночь,
матерь одиночества, смывающая с нас пятна.

Томас Вулф. Взгляни на дом свой, ангел

Свобода лишь означает, что тебе нечего терять.

Крис Кристофферсон. Me and Bobby McGee

9 СЕНТЯБРЯ

Меня пугают люди, слишком уверенные в своих желаниях, а тут, в общежитии, таких людей много. Они даже спроста перечисляют свои мечты в точном порядке, от главных до второстепенных. Заодно продиктуют адреса магазинов, где их можно воплотить в жизнь — со скидкой или в рассрочку.

Мы едва познакомились с Мэттью, но я уже знаю, что он мечтает о чёрном рояле «Стайнвэй Спирео». Хочет по вечерам играть для друзей что-нибудь расслабляющее. При этом на корпусе должен стоять бокал не допитого им вина. Желательно «Шато Шеваль-Блан». Не представляю, откуда Мэттью всего этого понабрался.

Мой сосед Мэкси мечтает о полной экипировке в цветах «Чикаго Беарс», его любимой команды по американскому футболу. Он и сам играет за университет, а ещё он мечтает о семидесятидюймовой плазме. Мэкси — неплохой парень. Я обрадовался, когда узнал, что меня поселят в одной комнате с двухметровым чернокожим футболистом. Думал, будет интересно. А потом Мэкси стал возвращаться с тренировок весь взмыленный. Это было бы не страшно, если бы он первым делом шёл в душ, который, кстати, находится через одну комнату от нашей. Однако в списке дел посещение душа у него не стоит ни первым, ни вторым,

ни каким-либо ещё. Он просто забрызгивает себя приторной ванилью и, довольный, идёт на занятия. Так что у нас всегда пахнет его потом и духами, больше похожими на освежитель воздуха. А сентябрь в Чикаго жаркий, не спасают даже распахнутые окна.

Вообще, наша комната — одна из самых убогих в Солберхолле. Тут все обставляются как могут: привозят из дома ковры, пуфики, стереосистему и всё в таком духе. А у нас нет даже занавесок. Зато есть телевизор. Старый «Самсунг» с заляпанным корпусом и чуть более новым, но таким же заляпанным дивиди-проигрывателем. Мэкси привёз его в первый день заселения. Долго возился с проводами, настраивал каналы, а на днях я зашёл в комнату и увидел, как Мэкси развалился на кровати и радуется, толком не прикрывшись простынёй. Я притворился, что говорю с кем-то в коридоре, — задержался на пороге, дал Мэкси возможность спешно натянуть трусы и выключить телевизор. Мне, в общем-то, всё равно, чем он тут занимается, пока меня нет, хотя всё это довольно мерзко, но закрывать дверь на ключ ему бы точно не помешало. А теперь Мэкси мечтает купить семидесятидюймовую плазму. Даже не хочу думать об этом.

Синди, с которой мы ходим на американскую литературу, мечтает... Да о чём она только не мечтает! О бордовом «Кадиллаке Флитвуд» девяносто шестого года, об абонементе в фитнес-центр на Мичиган-авеню, о домике на берегу Мичигана или Гурона — о таком, чтобы окна спальни непременно выходили на восток. Синди даже подыскала себе в интернете двухэтажный особняк с верандой, бассейном и своей огороженной пристанью. Вот только непонятно, куда там выходят окна спальни, и Синди из-за этого переживает, будто в самом деле не сегодня завтра купит этот дом с его верандами и бассейнами. У неё нет денег даже

на фитнес-центр, какой уж тут дом, а она мечтает со всей серьёзностью.

От Синди можно было бы ожидать чего-то менее прозаичного. Детство она провела в Японии, её родители — миссионеры или что-то в этом духе. «Они несут слово Христово». В нашем университете такое встречается сплошь и рядом. Университет Северного парка прежде был христианским. Главное здание, Олд Мэйн, построили не то священники, не то проповедники из Миннеаполиса ещё в 1894 году, и оно оказалось самым высоким в районе. Олд Мэйн тогда стоял за чертой города, его купол служил ориентиром для самолётов, заходящих на посадку в Очард Филд, где потом, в годы Второй мировой, построили современный аэропорт О'Хара. Изначально в Олд Мэйн обучали шведских эмигрантов, а вокруг лежали самые настоящие пустыри, но за сто с лишним лет он разросся: побывал и колледжем, и академией, затем стал полноценным университетом с огромным кампусом и своей богословской семинарией. Интересно, отец, отправляя меня сюда, знал об этом?

Статуя Иисуса и большая часовня в кампусе не мешают студентам мечтать о кадиллаках, особняках и плазмах на всю стену. Послушаешь их, и становится тошно.

На прошлой неделе я звонил домой, в Москву. Говорил с мамой и немного с отцом. Сказал ему, что не знаю, чего хочу на самом деле. Вроде бы обсуждали какую-то ерунду, то, чем здесь кормят и какие преподаватели, а я взял да и сказал. Сам не ожидал. Отец тоже не ожидал. Он вообще не любит, если я резко меняю тему, говорит, что для будущего юриста это плохо. А тут промолчал. Понял, что я серьёзно. И ведь долго молчал, сосредоточенно. Может, думал, я что-то добавлю, но я ничего не добавил, и он наконец заявил, что мне нужно сходить на профориентацию. Мол, запишись

на консультацию, обсуди там свои затруднения и пройди соответствующие тесты. Так и сказал: соответствующие тесты.

— В вашем университете с этим не должно быть проблем.

Ещё отец сказал, что университет подтвердил оплату за первое полугодие. Мог бы не говорить, но сказал.

Профориентация... И ведь я ждал от отца чего-нибудь подобного. Конечно, ждал. Он всегда так говорит. И действительно думает, что это мне поможет. Вот моей сестре помогло. Теперь она работает с ним в одной компании и, кажется, счастлива. По крайней мере, голос у неё счастливый, когда я спрашиваю про работу и про новых коллег. Сестра всегда была из тех, кто твёрдо знает, чего хочет.

Ну и как я мог ответить отцу? Ответил ему, что профориентация — удачная мысль, что я обязательно схожу и пройду все тесты, а положив трубку, решил, что отступать некуда. Всё, что я задумал, ещё неделю назад казалось безумием, но теперь я точно вижу, что это единственный выход. Нужно действовать, пока трясина не засосала меня целиком. Потом будет поздно.

17 СЕНТЯБРЯ

Люблю случайные взгляды и улыбки. Иногда в метро пересечёшься взглядом с незнакомой девушкой, не ответишь ему, а потом вы долго смотрите друг на друга открыто, без стеснения. В какой-то момент девушка не сдерживает улыбки, и ты улыбаешься в ответ, будто увидел старого приятеля, с которым связано всё самое радостное. И тут понимаешь, что девушка красивая, но не так, чтобы её сразу фотографировать для журнала или рекламного стенда, а просто красивая, как у Джо Кокера: «you are so beautiful to me»*, только без надежд и прочей романтики.

В вагоне ходят люди, а вы улыбаетесь. И всё. Ни слов, ни знакомства. Отводите взгляд, потом опять смотрите друг на друга. Ты не узнаешь, что она жуткая зануда, готовая дни напролёт обсуждать своих сокурсниц или походы в «Волмарт», а она не узнает, что ты не покупаешь зубную нить, а если покупаешь, то ленишься пользоваться. Но вам сейчас хорошо. Когда на Куинси или Рэндолф вагон набивается пассажирами, между вами всё равно остаётся светлая нерушимая связь. Выходя на своей станции, ты расталкиваешь каких-нибудь клерков в душных костюмах и опять смотришь на неё, с неожиданным волнением заподозрив, что тебе эта связь почудилась. Но девушка поворачивает голову,

* «Ты так прекрасна для меня». — *Здесь и далее пер. авт. с англ.*

и вы опять встречаетесь взглядом. И ты чувствуешь, что действительно счастлив. По мне, так это чувство лучше всех разговоров, поцелуев и уж точно лучше букетов и парных свиданий с её друзьями. Чистое, непроросшее зерно. Я и детей за это люблю. Странно, да? Люблю в них свежесть и возможное будущее, а вот то, чем они станут, не люблю. И сам не хочу никем становиться. Хочу застрять в мгновении чистой свободы.

Как-то сказал об этом Мэту. Ждал, что он рассмеётся, а Мэт промолчал и задумался о чём-то своём. С ним такое случается. Он мне поэтому и нравится. Люблю за ним наблюдать. Когда он думает. Или когда играет на фортепиано. Иногда вечером Мэт возвращается в учебную комнату — отрабатывает произведения, не вошедшие в учебную программу. Я иду с ним. Смотрю и слушаю. И сегодня мог бы пойти, но отправился на вечеринку Стива.

Стив учился по обмену в Москве и теперь взял меня под опеку, что ли, даже не знаю, как это назвать. Но опека у него дрянная. Первое время он объяснял мне, как тут всё устроено: где купить выпивку, где знакомиться с девушками, как проскользнуть в бар с чужим ID, ну и всё такое.

— У нас некоторые сдают карточку в прокат. Главное, чтобы на фотографии был человек одного с тобой цвета. Охранники особо не придираются. Видят, что ты белый, и пропускают. Так что ID у цветных не бери, ничего не получится.

Стив говорил с таким видом, будто наставлял меня в древней китайской мудрости, и, наверное, думал, что я весь трепещу перед его знаниями, а мне хотелось смеяться, потому что всё это было как-то глупо и даже пошло, но я слушал и один раз назвал Стива сенсеем — думал, он улыбнётся

и поймёт, что я не воспринимаю его всерьёз, и Стив в самом деле улыбнулся, только в его улыбке сквозила до того непоколебимая уверенность в собственном превосходстве, что мне окончательно стало неловко.

Стив живёт в отдельном доме на окраине кампуса. Там шесть домов. В каждом — по шестнадцать студентов. Они платят больше, чем мы за общагу, но им, конечно, веселее. Заселиться в дом сложно, там целая очередь. В общем, живут они неплохо, а по выходным закатывают вечеринки. Ничего такого, им нельзя слишком шуметь, но многие им завидуют. И на одну из воскресных вечеринок Стив позвал меня. Я отказался. Придумал вполне достойную отговорку. Потом отказался ещё раз. А на третий раз отказаться не смог — Стив поймал меня у Кэролайн-холла и буквально потащил к себе. Я лишь успел написать Мэту, чтобы тот меня не ждал.

В доме было шумно и тесно. Гремела музыка. Правда, музыка мне понравилась. Играл Oasis. «Cigarettes and alcohol». Песня соответствовала тому, что я увидел: алкоголя предостаточно, разве что сигарет нет — в доме стояли датчики дыма, всё-таки дом университетский, и курить разрешалось только на веранде.

Мы протискивались между веселившимися студентами, среди которых были и совсем взрослые ребята, а я с наслаждением слушал, как младший Галлахер тянет своё неповторимое «ши-ен» в словах «imagination», «action», «situation» и уж совсем непередаваемое «ши-йин» в слове «sunshine», да и фраза «Is it worth the aggravation to find yourself a job when there's nothing worth working for?»* казалась как

* «Стоит ли напрягаться и искать себе работу, если нет того, для чего действительно стоило бы работать?»

никогда уместной. Но это единственное, что меня порадовало. В остальном я был явно не в своей тарелке.

Дальше — хуже. Стив затащил меня в свою комнату и закрыл дверь на замок. Музыка с первого этажа будто ушла под воду и только продолжала отчётливо вибрировать в стенах. Комната оказалась вполне просторной. Вещи лежали по всем четырём кроватям, по тумбам, стульям, столам, на полу — на удивление много тряпья! — даже стены были завешены тряпичными флагами университета и «Чикаго Беарс».

Мы остались наедине, и Стив открыл тумбочку. Святая святых. Тайник. В ней стояла водка, привезённая из России. А ещё перцовка и какие-то наливки в неподписанных бутылках. Стив выглядел очень гордым. Думал, что такая картина меня впечатлит. И я постарался его не разочаровать — изобразил удивление, хотя сделать это было непросто. Мне стало скучно. А Стив со смехом рассказал, как пронёс водку через таможеню, как спрятал бутылки в носках, потому что на досмотре пришлось полностью открыть чемодан.

— Я как Кристофер Уокен с вьетнамскими часами. Понимаешь, да?

Изображать восторг было всё сложнее, и я вздохнул с облегчением, когда Стив предложил перейти к делу — выпить. Я не любил водку, но понадеялся, что так для Стива закончится его неуклюжий ритуал гостеприимства, и, в общем-то, оказался прав.

Мы выпили по одной рюмке. Стив сказал, что бережёт бутылки для особых случаев, и я мог только порадоваться, что случай с моим приходом для него не такой уж особый и оценён лишь в одну рюмку, а потом... Стив наконец отстал. Думаю, мой восторг всё-таки выглядел наигранным, а благодарность — фальшивой. Стив сказал, что ему нужно отойти, и больше в этот вечер мы не общались.

Я бы ушёл, но меня разморило, и я отправился бродить по дому. Просто ходил, смотрел на людей. Слушал, как они смеются. На меня не обращали внимания. Даже не стеснялись целоваться при мне и всё такое. Ни танцевать, ни играть в настольные игры или «Плейстейшен» я не хотел. Маялся без дела. А потом увидел её. Эшли. Она сидела на полу у закрытой двери. Я мог бы пройти мимо — разговор с красивыми девушками у меня, как правило, не клеится, — но почему-то остановился и просто сел у стены напротив. Поблизости никого не было, и мы как-то разговорились. Точнее, Эшли сама начала говорить, а я подхватил.

Сказала, что её зовут Ashlee — с двойным «е» на конце. Я не придумал ничего лучше, чем сказать, что меня зовут Дэн с одной «н» на конце. Не умею шутить. Всегда хочу ответить так, чтобы и весело, и остроумно, но никогда не получается. Если подумать хорошенько, то через час-другой подберу что-нибудь забавное, а вот так, сразу, — это не про меня. В такие моменты хочу удавиться. Я бы тогда ушёл, но Эшли усмехнулась — просто, без претензии, будто я в самом деле неплохо справился и сумел поддержать разговор, и уходить уже не было причин. Я остался, и нам даже было весело.

Собственно, Эшли не то чтобы очень красивая. Лицо у неё самое обычное. Гладкое, аккуратное, но ничего особенного. А стоит ей улыбнуться, и оно оживает, становится каким-то весенним. Как-то проявляются и губы, и нос, и глаза. Будто её изначально создали такой — улыбающейся. Не могу объяснить точнее. Просто бывают люди, которые родились с улыбкой, и если они не улыбаются, то исчезают, перестают существовать. Эшли была именно такой. И я как никогда прежде жалел, что не умею по-настоящему шутить или рассказывать забавные истории.

Мы обсудили учёбу. Выяснили, что оба ходим на профессора Тёрнера. Наверное, на занятиях Эшли не улыбалась, вот я и не замечал её. А меня не заметить легко. Потом выяснили, что читаем одну книгу. «В дороге» Керуака. И тогда уже весь дом и шум — всё пропало. Я сейчас даже не вспомню, какая играла музыка. Мимо нас изредка пробегали парочки, и они что-то говорили, а в конце коридора был туалет, и возле него собралась очередь, но мне казалось, что мы с Эшли остались вдвоём. Сидели на полу у закрытой двери. В комнате что-то происходило, я слышал звуки и догадывался, что именно там происходит, но меня это не интересовало. Я ожил. В последний год со мной это случалось редко. А Эшли была в белой футболке с потрескавшимся рисунком Бетти Буп — почти как у Меркьюри на «Уэмбли» в 1986 году, — в рваных джинсах, через которые проглядывала светлая кожа её худых ног. И от неё пахло чем-то цветочным. И день оказался вполне себе неплохим.

Мы всё говорили про Керуака, и я на память процитировал любимый отрывок. Музыка с первого этажа отчасти заглушала мой голос. «Я плёлся сзади, как всю жизнь плетусь за теми, кто мне интересен, потому что интересны мне одни безумцы — те, кто без ума от жизни, от разговоров, от желания быть спасённым, кто жаждет всего сразу, кто никогда не скучает и не говорит банальностей, а лишь горит, горит, горит, как фантастические жёлтые римские свечи, которые пауками распускаются в звёздном небе, а в центре возникает яркая голубая вспышка, и тогда все кричат: „Ого-о-о!“»

— Здорово! — Эшли перебралась поближе ко мне. Мы теперь сидели бок о бок на ковролине, пыльном и давно стёртом в одну сплошную бесцветную плешь и лишь по углам сохранившем изначальный зелёный цвет. — Ты заучил!

— Нет... Просто запомнил. У меня хорошая память.

И это чистая правда. Я не красовался, ничуть. Память у меня действительно хорошая. Я всегда почти в точности запоминаю понравившийся отрывок, а уж если прочитаю его несколько раз, так он отпечатывается даже визуально: закрыв глаза, я вижу каждую прочитанную строчку и саму страницу.

Я испугался, что Эшли подумает, будто я всё-таки красуюсь, но она поняла, что я не пытаюсь её впечатлить и говорю искренне. Мне захотелось её обнять, но я сдержался, не стал этого делать даже в шутку.

— Ты всё запоминаешь?

— Не всё, но многое.

— Круто... У Капоте тоже была хорошая память. Он запоминал девяносто четыре процента из прочитанного. Ну, если верить фильму. Видел? Так и называется: «Капоте».

— Нет.

— Посмотри. Если хочешь стать писателем, тебе пригодится.

— С чего ты взяла, что я этого хочу?

— Не знаю... А что, это не так?

— Ну... Так, наверное.

— Ну вот! — Эшли торжествующе хлопнула меня по колену.

Меня удивило, что она спокойно, ничего не уточняя, признала моё право на то, чтобы однажды стать писателем, будто в этом не было ничего необычного.

— А ты такой же? — спросила Эшли.

— В смысле?

— Ну... Тоже *горишь, как римская свеча*?

— Что?! — я хохотнул.

Потом, посерьёзнев, ответил:

— Нет. На самом деле я таких людей боюсь.

— Боишься?

— Да. Всех этих людей, горящих, как римские свечи. У которых баки всегда полны, а газ от малейшего прикосновения выжимается в пол.

— Почему?

— Почему боюсь? Ну... Не знаю. Потому что сам не такой. Хотел бы, но не такой. Может, у меня газ тоже выжимается в пол, только двигатель барахлит.

Эшли рассмешило моё сравнение.

Мы ещё поговорили о Керуаке, а потом дверь открылась. Из комнаты вышли Кристен, подруга Эшли, и какой-то парень в шортах — явно старше их обеих. Кристен и парень были помятые и весёлые. Несмотря на весёлость, Кристен не выглядела счастливой. Я это хорошо чувствую в людях. Ну, или мне только кажется, что чувствую, не знаю. Но мне иногда приятно думать, что я могу вот так одним взглядом понять, счастлив человек или нет. И Кристен точно не была счастлива.

Она ушла к туалету, а парень сел рядом с Эш у стены. У него была фигурная чёрная щетина, и он улыбался, словно готовился сказать что-то очень остроумное. Мне никогда не нравились люди с такой улыбкой. Ещё я не люблю слишком позитивных людей, которые при первой же встрече обрушивают на тебя весь поток своего позитива, будто ты их лучший друг, ну или они знают, что завтра умрут под колёсами грузовика, и поэтому торопятся использовать каждую из оставшихся секунд. Я много раз замечал, что безудержные весельчаки оказываются смертельными занудами, когда дело доходит до настоящих проблем или когда нужно

поговорить спокойно, а ещё они обидчивы до одури и чуть что бросают на тебя осуждающий взгляд, будто ты нагадил у них под кроватью. Не то чтобы этот парень мне показался именно таким, но мне он как-то сразу не понравился. Наверное, из-за того, что я рассчитывал побыть наедине с Эшли.

Мне не хотелось молчать, и я, глядя на его фигурную щетину, спросил, сам ли он бреется. Вопрос, конечно, глупый, но мне было важно развеять молчание.

Парень кивнул.

— Сам. Всё сам. А ты?

— Я тоже сам.

И это прозвучало вдвойне глупо, потому что брить-то мне пока особо нечего. Нет, я знал парней, которые уже в десятом классе пытались начесать себе бородку Ван Дейка или как она там называется — вроде козлиная, а смотрится не так плохо, если есть на что смотреть. Но у меня и в девятнадцать лет волосы на подбородке и щеках растут убогими рассеянными пучками, которые я тут же срезаю, чтобы не выглядеть фриком — из тех, кто со старших классов ходит с длинными китайскими волосинками.

— Всегда нужно бриться самому, — многозначительно сказал парень и провёл ладонью по щеке, будто выщупывая, стоит ли ему прямо сейчас отправиться в туалет и там подровнять щетину или подождать до завтра.

Эшли улыбнулась. Ей разговор показался забавным.

— И вообще, — парень впервые посмотрел на меня, — брейся везде, где можешь. Это, чёрт возьми, важно. Слышишь?

Я не совсем понял, почему он говорит об этом с такой серьёзностью.

— Запомни главное: ясень без кустов кажется выше.

Я не сразу сообразил, о чём идёт речь. Думаю, это читалось по моему лицу, и парень, усмехнувшись, хлопнул себя по шортам. Я наконец сообразил, на какой ясень он намекает, и поморщился. Парень, довольный тем, какое впечатление на меня произвела его мудрость, рассмеялся. Не знаю, куда бы нас завёл этот разговор, но тут Эшли предложила мне выйти на веранду проветриться, и я с радостью согласился.

На веранде было по-вечернему свежо, а возле фонарей беззвучно вились мотыльки. Эшли закурила. Я тоже закурил. Собственно, курить я начал в Чикаго. Подумал, что так будет проще. Правда, выглядел глупо — даже фольгу из пачки не вырывал, не знал, что её нужно вырывать, да и затягивался чересчур жадно, отчего меня поначалу подташнивало.

Мы с Эшли какое-то время смотрели на тихие глыбы университетских зданий — все как один из красного продолговатого кирпича, с белыми окнами, многоскатной черепичной крышей, а порой и с неуклюже торчащим дымоходом. Смотрели на чёрные улочки кампуса, днём всегда заполненные студентами, а сейчас начисто вылизанные безлюдьем. Потом разговорились про занятия. Выяснилось, что профессор Джей, преподававший мне американскую литературу, — дедушка Эшли. Это было неожиданно и очень странно. Они были совсем не похожи.

Вообще, профессора зовут Йовица Югович. Jovica Jugo-
vić по-английски. Он так и представился на первом занятии. Попросил всех по очереди произнести его имя. Ни у кого не получилось. Только у меня. Я не единственный иностранец в группе, там ещё сидят две кореянки и один палестинец, но с полным именем профессора справился только я.

Глупая затея, а профессору, кажется, понравилось, как все коверкают его имя. В итоге студенты называли его «профессор Джей». Он не сопротивлялся. А потом выяснилось, что профессор Джей не такой уж зануда и гордится тем, что сорок шесть лет назад первым из семьи приплыл в Нью-Йорк. Два года отработал докером, три года рыбачил, потом женился на американке и с ней переехал в Чикаго, где они живут уже тридцать один год, из которых он семнадцать лет преподаёт американскую литературу. И все эти сроки из своей жизни он называл очень точно — не просто «много лет» или «почти два десятка», а именно «семнадцать» или «тринадцать», ещё и с какой-нибудь отсылкой к тому, что тогда происходило в Штатах, и с обязательным упоминанием, что в Нью-Йорк он приплыл, не зная английского языка и без гроша в кармане. Иногда мне кажется, что профессор Джей с удовольствием посвятил бы парочку занятий своей биографии, которая ему самому, наверное, видится интереснее разговоров о Драйзере или Фицджеральде, но он ничего подобного не делал, а про семью рассказывал лишь на семинарах, и то урывками.

Мне понравилось, как профессор Джей сказал: «Чем больше слов мы знаем, тем более глубокими становятся наши мысли». Тут не поспоришь. Я в последнее время обо всём бытовом и повседневном думаю только по-английски, но, когда дело доходит до чего-то действительно сложного, неизбежно перехожу на русский. Профессор советовал запоминать новые слова из книг — если и не вывешивать их на бельевых верёвках, как это делал Джек Лондон, то хотя бы расклеивать на стикерах, чтобы они каждый день попадались на глаза.

Я рассказал об этом Эшли. Думал, ей будет приятно, но она почему-то погрустнела. Мы ещё поговорили о занятиях, о столовой, о случае, когда в начале сентября под мостом

в кампусе нашли мешок с щенками, а потом Эшли вдруг сказала, что два года назад прыгнула под машину. Что у неё был сложный перелом ноги. Врачи напророчили ей хромоту, но она никогда не хромала, да и с костылями ходила только два месяца, а не полгода, как ей обещали. Эшли даже прошлась по веранде, и я не смог вычислить, какая именно нога была сломана. Эшли понравилось, с какой искренностью я это признал, а я подумал, что хочу быть рядом с ней. Просто стоять рядом, слушать, как она говорит. Видеть её лицо. И не так уж важно, о чём мы разговариваем и что происходит вокруг.